

Кураторы Эволюции

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов

Кураторы Эволюции

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Кураторы Эволюции / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Прия Шарма пятнадцать лет читала мёртвых по «мусору» — молчащим обломкам ДНК, где спит всё, что жизнь однажды пробовала и отложила. Её девятилетняя дочь Майя задыхается от наследственной опечатки. Клиники «Аврора» обещают чудо: поле, которое переписывает набело — не лечит, а «доводит до совершенства». Первые исцелённые слишком спокойны. В заповеднике птицы сворачиваются в идеальные яйца, деревья становятся одинаковыми. Дочь перестаёт бояться темноты — и Прия понимает, что теряет её по кусочку. Её изгнанная наставница знает правду про Маяк под льдом и про цену, которую придётся заплатить именно ей.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Шум	5
Часть 2. Порог	9
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Эдуард Сероусов

Кураторы Эволюции

Часть 1. Шум

К трём часам ночи мёртвые почти заговорили.

На среднем мониторе, нуклеотид за нуклеотидом, собиралась хромосома зверя, которого не было на свете сорок тысяч лет, — пещерного льва, чью бедренную кость год назад вынули из вечной мерзлоты вместе с комком доисторической земли. Прия вела пальцем вдоль экрана, не касаясь стекла, — просто чтобы взгляд не соскользнул со строки. Аденин, тимин, длинный провал, снова тимин. Древняя ДНК приходит рваной, обглоданной временем, и работа палеогенетика похожа на чтение книги, которую сожгли, а потом попросили пересказать дословно. Прощаешь пробелы. Достраиваешь по соседям. Слушаешь, что молчит.

Между генами тянулись пустоши — то, ради чего Прия и не спала третью ночь. Обломки древних вирусов, вросших в геном миллионы лет назад и там уснувших. Сломанные копии копий. Повторы, не кодирующие ничего и никому не мешающие. Коллеги звали это мусором. Junk DNA. Прия звала это шумом и любила больше самих генов.

Гены — то, что выжило. Шум — всё, что жизнь однажды попробовала и отложила, не выбросив: запасные лапы, забытые ферменты, хвосты, жабры, страхи. Целые чертежи прежних тел, свёрнутые и убранные на дальнюю полку — на случай, которого не будет. Прия провела над этой полкой пятнадцать лет. Ей нравилось думать, что ничто по-настоящему не исчезает; что вымершее просто спит; что в каждом из нас лежит, сложенный и молчащий, весь пройденный путь.

Тогда она ещё считала это утешением.

Слушать то, что молчит, её научила Ирина Восс — двадцать лет назад, склонившись над такой же стеной пустошей в чужом геноме. «Гены крикливы, — говорила Восс, постукивая карандашом по экрану. — Они орут о себе, потому что им есть что терять. А ты слушай тихое. Тихое — это то, что жизнь решила не забывать, хотя могла бы. У природы нет карманов, девочка. Если она что-то хранит без дела — значит, держит заряженным». Тогда это звучало красивой причудой старухи. Прия не догадывалась, до чего буквально всё окажется заряжено — и до чего скоро кто-то нажмёт на спуск.

Секвенатор в углу выдохнул — короткий пневматический вздох, с каким он проглатывал очередную пробу, — и число на панели сдвинулось. Девяносто один процент. Прия потянулась за стаканчиком с кофе, нашла его холодным и выпила всё равно. На горле, под воротом свитера, качнулся старый USB-ключ на шнурке. Внутри лежала Майя — вся, от первой буквы до последней, снятая в роддоме девять лет назад, когда неонатолог произнёс слово «носительство» так тихо, будто извинялся лично перед новорождённой. Резервная копия дочери. Прия носила её не снимая и ни разу не открыла.

Она знала, что там. Там была та же тихая опечатка, что убила её собственную мать в пятьдесят один, — единственная неправильная буква в единственном важном гене, передаваемая по женской линии, как фамильная брошь, которую нельзя не принять. Мать передала её Прие. Прия, ничего не спросив, вписала её Майе. Три поколения, безмолвно вручающие друг другу один и тот же дефект.

Может быть, поэтому она и ушла к мёртвым. С мёртвыми хотя бы всё уже случилось. Их нельзя было не спасти.

Девяносто четыре.

На экране, из миллионов обрывков, вставал зверь. Прия видела его почти живым: покатый лоб, тяжёлую холку, глаза, в которых сорок тысяч лет назад отражался последний в его роду закат. Она воскрешала его не по генам — гены давно осыпались, — а по шуму, по молчащим обломкам, по тому самому мусору, что сохранил изгиб когтя, постав уха, оттенок несуществующей больше шерсти. Весь зверь был записан в том, что все выбрасывали. Этот миг Прия любила больше всего в работе — миг, когда мёртвое почти дышит и кажется: ещё строка, ещё один провал, залатанный терпением, — и оно откроет глаза. Ничто не исчезает насовсем, шептала она себе в такие ночи. Всё спит и ждёт, чтобы его прочли.

Она почти успела поверить, что доведёт льва до конца этой ночью, — и тогда зазвонил телефон, и имя на экране погасило сорок тысяч лет разом.

«Даниэль». В три часа Даниэль не звонит просто так.

— Она дышит, — сказал он вместо приветствия. Голос был ровным той нарочитой ровностью, за которой прячут панику. — Уже дышит. Но был приступ. Мы в приёмном.

Прия уже стояла. Стул откатился и стукнулся о стеллаж с образцами.

— Сатурация?

— Восемьдесят девять. Поднялась до девяноста четырёх. — Он помолчал, и в этой паузе она слышала всё, что он не хотел говорить вслух при дочери. — Прия. Они снова спросили про программу. И я снова не знал, что ответить за нас двоих.

На мониторе спокойно собиралась мёртвая хромосома, которой некуда было спешить. Прия выключила экран, не сохранив последние проценты. Сорок тысяч лет подождут ещё ночь. Её дочь ждала уже восемь.

— Еду, — сказала она.

В приёмном пахло антисептиком и подостывшим кофе из автомата — тем же кофе, что она пила час назад, будто лаборатория и больница соединились напрямую, минуя весь остальной город, и она всю жизнь ходила только между этими двумя точками.

Майя спала на каталке, слишком маленькая под казённой простыней. Под глазами синело. Руки поверх одеяла лежали ладонями вверх, и Прия, взяв их в свои, привычно удивилась, до чего они холодные — всегда, в любую погоду, будто сердце не дотягивалось до кончиков пальцев. В спутанных волосах держалась пластиковая заколка-звезда, треснувшая поперёк ещё зимой. Дочь отказывалась её менять: звезда была счастливая, звезда однажды уже помогла ей не задохнуться, и логика девятилетнего человека не признавала апелляций.

Даниэль стоял у окна и не обернулся на её шаги — по звуку узнал. Небритый, в куртке не по сезону, с глазами человека, который научился спать стоя. На его запястье Прия увидела то, что видела всякий раз последние полгода: срезанный больничный браслет Майи, тот, с прошлой госпитализации. Он носил его, как иные носят обручальное кольцо после развода — не чтобы вернуть, а чтобы не забыть, что не уберёг.

Их развела не вражда. В том-то и была вся горечь, что не вражда. Просто восемь лет тревоги стачивают человека, как вода камень, и однажды двое просыпаются рядом и понимают, что от них обоих осталось ровно столько, сколько нужно, чтобы по очереди дежурить у одной кровати. Любви хватало. Не хватало всего остального.

Майя приоткрыла глаза — на секунду вынырнула из-под тяжёлого сна, каким валит после приступа. Нашла мать. Губы тронула щербатая улыбка.

— Ты прямо со львом пришла, — прошелестела она из-под кислородной маски. — У тебя на рукаве земля. Древняя. Сорок тыщ лет. — Майя гордилась тем, что знает мамину работу, и любила ловить на ней мать. — Он большой был?

— Огромный, — сказала Прия, наклоняясь ниже. — С тебя и папу вместе. И трусливый: темноты боялся, как один мой знакомый человек.

— Я не трусливая, — возразила Майя без обиды, уже уплывая обратно. — Я осторожная. Это разное, мам. — Веки опустились. И почти во сне, буднично, без всякого страха, как о завтрашней погоде: — Если я всё-таки умру, ты меня запомнишь правильно? Не лучше, чем я была. Правильно.

— Ты не умрёшь, — сказала Прия.

— Это не ответ, — пробормотала дочь и уснула, оставив мать с открытым ртом и несказанным «да».

— Кандидатуру одобрили окончательно, — проговорил он, глядя в окно. — Поле. Первый сеанс могут дать уже завтра. Одно моё слово.

За стеклом, через фасад дома напротив, светящейся строкой ползла реклама: «АВРОРА. Болезнь была человеческим этапом». Буквы отражались поверх спящего лица Майи, и на секунду показалось, что дочь лежит внутри этих слов, как в саркофаге из света.

— Ты знаешь, что я об этом думаю, — сказала Прия.

— Знаю. — Он наконец повернулся. — И знаю, где ты это думаешь. В лаборатории. Среди тех, кому уже ничем не поможешь и потому можно рассуждать красиво. А я думаю здесь. Каждую вторую неделю — здесь. — Он кивнул на каталку, не глядя, потому что смотреть было больно. — Ты изучаешь, отчего вымерли мамонты. Я смотрю, как вымирает она. По чуть-чуть. И знаешь, что хуже всего? Я уже привык.

Это было несправедливо и потому попадало точно под рёбра.

— Оно не лечит, Дан, — сказала Прия тихо, чтобы не разбудить. — Я читала их препринты, не пресс-релизы. Оно не чинит поломку. Оно переписывает набело. Ты просишь не вылечить её. Ты просишь заменить её на кого-то здорового.

— Мне всё равно, как это называется в статье. — Он опустил на корточки у каталки, и его голос упал до шёпота, в котором не было ни капли той красоты, что он презирал в ней. — Ей девять. Она уже спрашивала меня, будет ли ей больно умирать. Девять лет, Прия. Она не должна знать это слово так близко. Если есть кнопка, которая это отменяет, — я нажму. И буду отвечать перед кем угодно потом.

Майя пошевелилась, не просыпаясь. Хрип на вдохе был таким знакомым, что Прия узнала бы его среди тысячи чужих вдохов; восемь лет этот звук будил её по ночам, и восемь лет она ненавидела его — маленькую поломку в собственной дочери, ошибку, которую сама же и вписала.

— Дай мне до утра, — сказала она. — Просто до утра. Один раз в жизни я хочу принять это решение не в три часа ночи над её кроватью.

Даниэль посмотрел на неё снизу вверх, и в его лице не было злобы — только усталость такой глубины, что рядом с ней спор казался роскошью.

— У нас больше нет «до утра» про запас, — сказал он. — Мы их все истратили.

Дома, не раздеваясь, она открыла ноутбук. За окном спал город чуда — тот самый, где за два года разучились умирать от рака и почти разучились стареть, где очереди у клиник «Авроры» вились по кварталам, как когда-то у мавзолеев, и лица в этих очередях светились ещё до всякого поля, одной надеждой.

На новостном канале без звука повторяли сюжет об Адаме. Прия уже видела его — все видели, — но остановилась и включила звук.

Первый исцелённый. Полгода назад — терминальная стадия, саркома, кости, съедаемые изнутри, обезболивание, на котором не живут, а медленно тонут. Теперь он сидел перед камерой и улыбался, и с ним было что-то не так, чего никто в студии, кажется, не замечал. Лицо было слишком симметричным — не красивым, красота почти всегда чуть кривая, а именно симметричным, как отражение, сложенное по оси. Он подолгу не моргал. Он говорил очень тихо, и от этой тихости у Прии по рукам поднялись мурашки, хотя слова были самые добрые.

— Люди спрашивают, что я потерял, — говорил Адам с экрана. Голос обволакивал. — Страх. Я потерял страх. Тридцать лет я просыпался раньше боли, чтобы успеть её встретить. Теперь я просто просыпаюсь. — Он чуть склонил голову, и движение вышло плавным сверх всякой человеческой меры. — Вы держитесь за своё «я», как за перила над пропастью. А я отпустил перила и не упал. Я хочу, чтобы вы тоже узнали: под ними не было пропасти. Там всегда было хорошо.

«Хорошо» в его устах звучало как диагноз.

Прия закрыла окно. Ей случалось видеть спокойствие святых, спокойствие мёртвых, спокойствие сильно обезболенных. Это было не похоже ни на что. Это было спокойствие комнаты, из которой вынесли всю мебель.

В почте, среди рассылок и приглашений на конференции, куда она давно не ездила, лежало письмо без темы, отправленное в 2:47. Адрес она не открывала десять лет и всё же узнала мгновенно, как узнают старый шрам. Ирина Восс. Её научная мать. Женщина, которая когда-то научила её слушать шум, — и которую потом стёрли из науки так тщательно, что нынешние аспиранты искренне не знали этого имени.

Три слова. «Не трогайте частоту».

Прия смотрела на них дольше, чем они того стоили. Десять лет назад Восс встала на большой конференции и сказала, что объект подо льдом — не подарок и не реликт, а работающая чужая машина, и что у машины есть собственная воля. Её осмеяли. Лишили грантов, лаборатории, имени. «Аврора» тогда только поднималась и не любила пророчащих беду. Прия — молодая, осторожная, с младенцем на руках и опечаткой в его крови — не заступилась. Промолчала. И промолчав, уцелела.

Палец сам качнулся к архиву — не ответить, не удалить, а отложить, как откладывают всё, на что нет сил. И в этот миг по нижней ленте новостей поехала строка:

«АВРОРА объявляет о десятикратном расширении программы. Поле — каждому. Запись открыта во всех регионах».

Она перечитала три слова Восс ещё раз. Потом закрыла ноутбук, пошла в комнату Майи и до утра просидела на полу у кровати, слушая тонкое, хриплое, живое дыхание дочери — тот самый ненавистный звук, который восемь лет означал: ещё дышит. Ещё здесь. Ещё моя.

Утром она позвонила в «Аврору» и подтвердила согласие. Потому что Даниэль был прав в одном: часов «до утра» у них больше не осталось. А спящую дочь с хрипом в груди она любила слишком сильно, чтобы у неё хватило духа отказать этой дочери в завтрашнем дне.

Это и была её ошибка. Как у всех, из любви.

Часть 2. Порог

Свет не был похож на свет.

Прия стояла за стеклом наблюдательной, и по ту сторону её дочь лежала в белом коконе аппарата, а вокруг неё стоял не луч и не сияние — стояло присутствие. Ровное молочное свечение без источника и без тени, будто сам воздух вспомнили и попросили быть ярче. Приборов почти не было. В этом и заключался фокус «Авроры», её гениальная нечеловеческая скромность: ни игл, ни излучателей, ни гула — только колыбель, только поле и ребёнок внутри. Храм, где алтарём была кровать.

Клиника вообще походила на собор больше, чем на больницу: высокие светлые залы, тишина, по которой ходят медленно, и люди — пациенты, сёстры, — у которых на лицах лежала одна и та же ясность. Слабая у новеньких, как через вуаль. Полная, зеркальная, немигающая — у тех, кто прошёл поле не раз. Они улыбались Прие, проходя мимо, и от их доброжелательности хотелось бежать.

Пока Майю готовили, к Прие подсел мужчина — из прошедших поле не раз, с зеркальной ясностью в лице. На коленях он держал брошюру без единого слова на обложке, только мягкий белый круг.

— Вы за дочку боитесь, — сказал он не спрашивая. — Вижу. Я так же боялся — за себя. А потом перестал. — Улыбка была совершенно, обезоруживающе доброй. — Страх ведь тоже болезнь, самая старая из всех. Его тоже лечат. — Он вложил ей в ладонь брошюру, тёплую от его рук. — Когда устанете держаться — приходите. Мы не уговариваем. Мы просто ждём, пока человек сам разожмёт пальцы.

«Мы». Прия ещё не знала этого «мы» по имени. Через двое суток его будут знать все и звать Принявшими, а того, кто их ведёт, — спокойного, прекрасного, пустого, — покажут по всем экранам. Она вернула брошюру. Мужчина не обиделся: кажется, он вообще разучился обижаться.

— Первые минуты самые важные, — сказала техник, милая девушка с бейджем и той самой вуалью в лице. — Организм узнаёт частоту. Дальше он всё делает сам.

«Сам». Вот слово, от которого Прие стало холодно. Она достаточно знала биологию, чтобы бояться систем, которые всё делают сами.

И всё же, когда на мониторе жизненных показателей кривая дыхания вдруг выровнялась — не подскочила, не выправилась рывком, а именно разгладилась, как разглаживают ладонью смятую простыню, — что-то в груди у Прии предательски отпустило. Восемьдесят девять. Девяносто четыре. Девяносто семь. Девяносто девять. Впервые за девять лет её дочь дышала так, будто дышать — это просто. Будто это никогда и не было подвигом.

Майя открыла глаза, нашла мать за стеклом и улыбнулась. И это была ещё её улыбка — кривоватая, с щербинкой между передними зубами. Прия поймала её и спрятала внутрь, ещё не зная, что скоро начнёт пересчитывать такие улыбки, как скупец монеты, и что запас их конечен.

— Вот видишь, — шепнул рядом Даниэль. Он не заметил, что плачет. — Вот видишь.

И Прия почти позволила себе поверить вместе с ним. Так легко было бы поверить — стоять за стеклом, держать мужа за руку, смотреть, как дочь впервые дышит легко, и назвать это чудом, и уйти домой, и спать по ночам. Целая жизнь звала её в эту простую веру. Но она слишком хорошо знала цену лёгкому дыханию: за него всегда чем-то платят, и если счёт не выставили сразу — значит, он ещё придёт. Она смотрела на ровную, гладкую линию дыхания дочери на мониторе и впервые в жизни боялась ровных линий.

Прия держала его за руку и смотрела на дочь в столбе кроткого света, и хотела верить так сильно, что почти сумела. Почти.

В заповедник она поехала через два дня — не от тревоги, а по работе: договор со станцией был подписан год назад, ей нужны были образцы почвенной ДНК, и отменить поездку значило признать, что тревога чего-то стоит. Она ещё пыталась не признавать.

Инспектор встретил её у шлагбаума с лицом человека, который не спал и не понимает, что видел.

— Я вам позвонить хотел, — сказал он. — Отменить. Тут... вы сами гляньте. Я слов не подберу, а вы учёная, может, у вас есть.

Слов не было и у неё.

Роща началась за первым поворотом тропы, и Прия остановилась так резко, что рюкзак сполз с плеча в грязь.

Деревья были неправильные. Не больные, не сухие — завершённые. Там, где неделю назад стояли обычные корявые сосны, каждая со своей несимметричной, выстраданной за век кроной, теперь поднимались одинаковые формы. Ствол делился надвое, надвое, ещё надвое — точным ветвлением, какое рисуют в учебниках рядом со словом «фрактал». Хвоя срослась в гладкие спиральные раковины. Деревья были на одно лицо, до последнего изгиба, будто их не вырастили, а отштамповали по единственному лекалу. И — Прия поняла это не сразу, а поняв, ощутила, как волосы на затылке встают дыбом, — они повторяли не только друг друга. Они повторяли морскую раковину. Повторяли рог барана, спираль галактики, завиток эмбриона. Одно и то же «правильно», которое жизнь на этой планете нащупывала сотни раз в сотнях разных тел и всякий раз отбрасывала ради своего, кривого, живого.

Она опустила на корточки над мёртвой птицей на тропе. Синица сворачивалась. Иначе не скажешь: тело медленно, на глазах, поджимало лапки, втягивало пёрышки, вылизывало собственные несовершенства и оплывало в компактную, тяжёлую, симметричную вещь — красивую, как ювелирное яйцо, и такую же неживую.

Прия выхватила приборы — счётчик, тестер, всё, чем меряют излучение. Стрелки стояли. Ничего не приходило извне: ни луча, ни радиации, ни поля в том смысле, в каком его рисовали в презентациях «Авроры». Тепло шло изнутри самих тел. И тогда, над сворачивающейся синицей, она поняла — медленно, всем нутром, тем знанием, что приходит раньше слов, — что это делает не «Аврора» и не какой-то передатчик. Это делает сама синица. Поле ничего не строит. Оно не приносит проект и материалы, не лепит новое. Оно просто наклоняется к живому и говорит: у тебя всё это уже записано, ты пробовало быть таким миллион лет назад, весь чертёж лежит в тебе на дальней полке, — вспомни. И живое вспоминает. Тратит на воспоминание собственную кровь, собственный сахар, собственное последнее тепло — и вспоминает себя досмерти.

Не лечит. Высвобождает.

Весь тот шум, который Прия пятнадцать лет любила как спящую память, — поле будило его. И убивало всё, что не входило в единственный правильный ответ.

Тишина в роще стояла полная. Ни одной живой птицы — те, что могли, улетели; те, что не успели, лежали в траве маленькими совершенными яйцами. Пахло озоном и чем-то сладким, цветочным, неуместным здесь, как духи на похоронах. У самых ног Прии из земли выходил новый побег — и уже заворачивался в идеальную спираль, торопясь стать не собой.

Она не взяла ни одного образца. Незачем было. Все образцы отныне будут одинаковы по всей планете.

Обратно она ехала медленно, будто больная. Роща давно скрылась за поворотом, но Прия всё видела перед собой ту синицу — как та поджимала лапки, оплывая в гладкое яйцо, торопясь стать не собой. Раньше слово «идеальный» было в её словаре комплиментом: идеальная сборка генома, идеальный образец, идеальный результат. Теперь оно означало вот эту рощу. Тишину без единой птицы. Мир, доведённый до правильного ответа — и оттого мёртвый.

Элиас Корн принял её через сутки, между двумя эфирами, и уделил ей ровно столько времени, сколько нужно, чтобы дать понять: её уже списали.

— Заповедник — локальная аномалия, — сказал он, не дав договорить. Он был безупречен: костюм, осанка, кожа. Ровный загар без единого пятна, гладкость лица, которой не бывает в пятьдесят лет, — гладкость, на которую Прия, войдя, засмотрелась дольше приличного. На руках, даже в кабинете, — тонкие перчатки. — Геохимия почв. Мы уже привлекли комиссию, к пятнице будет график и пресс-релиз.

— Там сворачивались птицы, — сказала Прия. — Живые. За минуты. Приборы молчат, потому что энергия не приходит извне — её берут из самих организмов. Это ваше поле, оно расходуется за периметр клиник, и оно не отличает пациента от воробья, потому что для него мы все — один незаконченный черновик.

Корн посмотрел на неё почти с сочувствием.

— Вы слышите себя? — Он развёл руками, обводя кабинет, город за окном, весь новый бессмертный мир. — «Наше поле» победило смерть за два года. Вы представляете, сколько людей за эти два года не похоронили детей? А теперь послушайте со стороны, как звучите вы: заслуженный палеогенетик утверждает, что лекарство от всего — на самом деле конец света. — Он подался вперёд. — Знаете, кто уже говорил ровно это, слово в слово? Ирина Восс. Десять лет назад. В микрофон, который мы, к общему счастью, вовремя выключили.

Имя ударило точно в цель, как он и рассчитывал.

— Восс была права, — сказала Прия, и услышала, что говорит это впервые в жизни вслух, спустя десять лет молчания.

— Восс была одинока, — мягко поправил Корн. — Это разные вещи, и люди прекрасно умеют их различать. Я торгую надеждой, доктор Шарма. Надежду нельзя отзывать частями — либо она есть, либо начинается то, ради чего роют бомбоубежища. — Он встал, давая понять, что аудиенция окончена. — Идите домой. Обнимите дочь. Ей ведь дали поле? — Он заглянул в планшет, хотя наверняка знал наизусть. — Вот. Обнимите дочь, которая наконец-то дышит по ночам. И спросите себя честно, при ней: вы правда хотите это остановить?

В приёмной, надевая пальто, Прия оглянулась сквозь стеклянную стену. Корн, оставшись один, стягивал перчатку и смотрел на собственную кисть — долго, неподвижно, забыв о ней и обо всём. Отсюда нельзя было разглядеть, что он там видит. Но снимал он перчатку так осторожно, так медленно, будто под ней пряталось что-то, чего он боялся сам, — что-то слишком гладкое, слишком ровное, слишком похожее на лицо Адама.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.